

---

---

## ПОД ЗНАКОМ УНИВЕРСИТЕТА<sup>1</sup>

М<илостивые> г<осударя>!

Я вступаю на эту кафедру родного университета, охваченный торжественным волнением пред величием той идеи, которой призвано служить это высокое учреждение, пред чистотой того духовного знамени, которое развеивается над стенами этого здания, пред исключительной значительностью того идейного девиза, который выставлен на его фронтоне. Девиз этот — *университет, universitas litterarum*, не знания, но знание, не науки, но наука, не частности, но целое, все, *universum*. Прислушайтесь к этому зову, молчаливому, но могучему. Университет как идея, как идеал целокупного, всеобщего, единого знания выражает неутолимую духовную жажду, могучую потребность всякого сознательного человека. Едва он открывает глаза и сознательным взором смотрит на Божий мир, он уже спрашивает: что есть все и что я во всем? В уме его тогда уже зарождается идея университета, потребность цельного знания.

Древние религиозные учения, первоначальные философские системы с их несложными построениями руководились именно этим самым стремлением, которое находит сознательное выражение и в новейшей философии.

Идеал этот оказывается настолько живучим и неустрашимым из нашего сознания и нашей воли, стремление победить «мстительный хаос» мира светом единящего логоса так неразрывно слито с стремлением к знанию вообще, что этот универсализм был, так сказать, естественным и первоначальным состоянием человеческой мысли, и первый университет родился в этом смысле вместе с первым мыслителем. Если мы остановим внимание на характере античной философии и науки, находившейся еще в детском и недифференцированном состоянии, то увидим, что эта философия являлась действитель-

---

<sup>1</sup> Вступительная лекция в Московском университете к курсу «Критическое исследование проблем и идеалов политической экономики (очерки социальной философии)».

но цельным знанием, объединяющим в себе все тогдашние науки и в своем синтезе возводящим их разрозненные наблюдения к высшему единству. Потому в лице Платона или Аристотеля (не говоря о более ранних) мы видим представителей не только философии, но и всего знания эпохи. Афинская площадь и академия Платона были подлинными университетами своего времени. Переходя к средним векам, формально мы замечаем ту же особенность и в средневековой мысли и знании, то же стремление сохранить их единство, хотя бы ценою насилия, практиковавшегося со стороны схоластического богословия над свободною мыслью. Идея университета жила и под сдавленными сводами средневековой готики. Печать сознательного универсализма лежит, наконец, на творениях величайших представителей мысли и знания нового времени, на системах Спинозы, Декарта и Лейбница, Канта и Гегеля, Шеллинга и Шопенгауэра, фон Гартмана. Высший полет их мысли возносит ее к сознанию мирового единства и устремляет к идеалу университета как цельного знания. В недавние дни и в стенах этого университета великим глашатаем идеала философии положительного всеединства и цельного знания явился наш русский философ Влад. Соловьев, и я прихожу к вам сознательным сторонником его мировоззрения, которое так недавно потеряло здесь столь незаменимого и талантливейшего защитника в лице кн. С. Н. Трубецкого.

Нелегко достается эта борьба единящегося логоса с хаосом мироздания. В развитии человеческой мысли каждая такая попытка единения оказывается преждевременной и несовершенной и рассыпается под сокрушительным действием критики и царящей мировой разрозненности, нестройности хаоса. Ибо, по слову поэта:

Мирозданием раздвинут —  
Хаос мстительный не спит,  
Искажен и опрокинут  
Божий образ в нем дрожит,  
И, всегда обманов полный,  
На Господню благодать  
Мутно плещущие волны  
Он старается поднять.

И сила мстительного хаоса преодолевает усилия человеческой мысли осветить его изнутри, сделать пронизываемой его толщу, победить разрозненность, и за гигантскими усилиями и высокими взлетами следуют

упадок сил и глубокие срывы. И в настоящее время человечество находится под впечатлением последнего такого срыва, происшедшего в первой половине XIX века и надолго, кажется, устранившего надежды на новый полет и новое время в наибольшей степени характеризуется упадком истинно университетского духа, торжеством знаний над знанием, победой силы центробежной над центростремительной. Развитие специальных наук и точных методов, вся лавина современного многознания, растущая наподобие снежного кома, как будто засыпала единое русло человеческой мысли, перепрудила ее поток. Дробная специализация стала условием успешного развития знаний; хорошо знать что-нибудь может только специалист, и притом тем лучше, чем уже будет он замыкаться в своей специальности. Препрежний универсализм древности и средневековья (да и новейшей философии) кажется теперь дилетантизмом или просто научным невежеством, которого ученые специалисты не удостоивают даже своего презрения. Единый поток знания продолжает разделяться на бесчисленное количество отдельных ручейков, все слабее соединяющихся между собою и образующих скорее озера, иногда же болота и загнивающие лужи. Никогда еще в такой степени не выяснялась и так болезненно не чувствовалась наиболее чуткими представителями мысли вся трагедия знания, муки Фауста с его отчаянным выводом, что «мы не знаем ничего, что точно стоило бы знания». В самом деле, для того чтобы двигаться навстречу единственно достойному человека идеалу цельного знания, человечество должно идти пока в направлении ему прямо противоположном, от универсализма к специализации, от единства к дроблению, и путь этот уводит все дальше от желанной цели, сумерки мысли при обилии знаний становятся гуще, и наука уподобляется сейчас царю Мидасу, обращающему в золото, в мертвое богатство своим прикосновением все живое. И что, может быть, самое тяжелое, начинает притупляться уже тонкость философских ощущений, специалисты перестают страдать от своей специализации и начинают даже гордиться ею, и филистерское самодовольство начинает искажать благородные черты Фауста. Раздробленности мысли отвечает и раздробленность жизни и чувствований. Тот пучок лучей, который, будучи собран в один фокус, оттуда освещает окружающее ровным светом, теперь рассеивается в пространстве, так что случайное, дробное, особое получает все большее

значение в жизни. Однако ведь существует же и теперь университет, слышится, хотя и слабо, его зовущий голос, еще не свернуто его знамя. Значит, идеал — *universitas* — не до конца померк в современном сознании. Неужели же теперь существование университета выражается только в внешнем соединении в одном здании и под одной кровлей отчужденных взаимно наук так, как в кунсткамере или музее в одном помещении или зале собираются разные предметы, принадлежащие чуждым цивилизациям? Есть ли университет такой музей или кунсткамера знаний, механическое соединение нескольких факультетов или специальных кафедр? Но если это так, то следует прямо сказать, что университета теперь нет, потому ли, что его вообще не может быть в наше время при теперешнем состоянии знаний, или же потому, что теперешние ученые не в состоянии создать университет, и пора его заменить механически организованным политехникумом. Университет останется тогда лишь административно-бытовым термином, обозначающим место соединения разных специальностей и, по новейшей версии, еще разных политических фракций, как афинская агора оглашалась речами и софистов, и заклятого врага их Сократа, и политическими дебатами разных партий. Или же университет существует не только как агора и политехникум, составляя не только внешний, но и внутренний факт сознания, и тогда должна существовать какая-то жажда, неутоленное стремление к университетскому, или, что то же, универсальному, цельному знанию и преподаванию. Должны существовать какие-то нити, связывающие и как бы нанизывающие на себя разрозненные знания, и при известных условиях их можно почувствовать и осязательно нащупать.

Каковы же они? Мы остаемся по-прежнему далеки от общенаучного синтеза, если он вообще возможен, но мы не должны забывать о нем как о предельной точке и истинной цели знания. Ремесленный специалист не должен убивать в себе мыслителя, тоскующего о цельном знании. Нужно чувствовать эту трагедию знания и болеть ею, чтобы не впасть в самодовольство. Завет Сократа: я знаю лишь то, что ничего не знаю, истинным, цельным образом, — должен постоянно звучать в душе, чтобы внешняя граница, очерчивающая круг данной специальности, не превращалась во внутреннюю ограниченность. Сожительство наук под одним кровом не должно привести к окончательному их разноязычию, которое стало

уделом строителей Вавилонской башни, задуманной тоже по гордому и величественному плану. Представители специальности должны помнить, что она есть лишь точка или градус на глобусе цельного знания, и это сознание побуждает к философствованию в пределах данной науки, к раздумью о действительном значении ее выводов и связи их с сопредельными областями знания, стремлению к обобщениям, увенчивающим и в известном смысле оправдывающим специальные науки. Трудно точнее формулировать это, ибо речь идет, собственно, о научно-философском настроении, которое скажется решительно во всем, но и ни в чем в особенности. Оно выразится, между прочим, в приведении выводов специальностей в связь с высшей проблемой — с загадкой о самом человеке. Ибо, как ни изменились наши астрономические воззрения со времен Коперника, но в мире нравственном сохраняет силу геоцентрическая, точнее, антропоцентрическая система Птолемея.

В центре всех вопросов науки стоит все-таки вопрос о самом человеке, и наука не только не может забыть о нем, но каждая по-своему и на своем языке пытается решать этот вопрос или давать материал для его разрешения. И эта центральная проблема собирает разрозненные лучи знания как бы в один фокус, сливает пеструю окраску спектра в белый свет. И только этим и обессиливается сарказм базаровского нигилизма, что наука не существует, существуют только науки. Итак, философское отношение к знанию и философствование в пределах специальности, борьба с чрезмерностью специализации, которая неизбежно отразится и на самой успешности работы, — вот то стремление, которое следует вносить в науку во имя идеала университета и цельного знания. Этот постулат и дает оправдание и отчасти определяет и содержание того курса, который я имею предложить вашему вниманию и который можно определить как философскую пропедевтику или критическое введение в политическую экономию и даже вообще в социальную науку. Кажется, выражение «философия политической экономики» звучит для уха далеко не так привычно, как, наприм., философия права или истории. Однако же к этому термину и обозначаемому им кругу идей и проблем пора уже приучать современное сознание. Ведь политическая экономия, как и вся вообще общественная наука, имеет прямым своим предметом проблему о человеке и об его общественном бытии, хотя и в специальной

ее постановке, следовательно, находится в самой ближайшей связи с философией и ее проблемами. Межа, отделяющая общее и специальное, а вместе и связь, их соединяющая, должны здесь вырисовываться в сознании с особенной отчетливостью. Поэтому естественно ожидать, что в своей разработке и политическая экономия, и вся социальная наука проявит наибольшую философскую сознательность, скромность и осторожность. К сожалению, предположение это далеко не вполне оправдывается, и ни общественная наука вообще, ни политическая экономия в частности не стоят на высоте своего призвания. Что касается первой, то ее постигла прямо трагическая судьба философского упадка и даже вырождения в связи с общим философским упадком в 2-й половине XIX в. Известно, что середина этого века образует собой перелом, как бы водораздел между двумя философскими течениями: в первую половину XIX века наблюдается начавшийся с Канта и закончившийся Гегелем расцвет спекулятивной философии, пора так назыв. классического немецкого идеализма. Этот подъем заканчивается отвесным обрывом и высшее напряжение философской спекуляции <не> приводит к цели. Туго натянутая струна лопнула. Господство классического идеализма, во многом не без вины последнего, сменяется господством догматического, некритического позитивизма, сводившего насмарку не только те или иные философские доктрины, но в значительной степени и самые проблемы, в них поставленные, и спокойно, почти благодушно, без трагедии относительно самых жгучих и настоятельных вопросов философского сознания, изрекавшего приговор: *ignotus* или же *ignovimus*. Девизы и настроения позитивизма в области науки, держащиеся в ней и до сих пор, отличаются от тех идеалов университетского знания и сознания, которые были обрисованы выше. Скорее можно сказать про позитивизм, что он успокаивал специалиста в его специальности и тем обрезал или ослаблял ту нить, которая связывает науки и кафедры в университет, обособляя и рассыпая их. Поскольку в призыве к специализации и углублению в детали заключается истина и выражается внутренняя необходимость, влияние позитивизма на развитие науки было благодетельно как нормальная и здоровая реакция против чрезмерностей притязаний спекуляции у Гегеля. Все это движение, говоря языком того же Гегеля, явилось антитезисом против тезиса предыдущей эпохи и воспроизвело ее одно-

сторонность в обратном виде. Обращаясь к социальной науке, которая окрещена была позитивизмом уродливым, двухязычным именем — социология, надо сказать, что ее судьба оказалась наиболее плачевна, как дни горя после дней счастья. Ибо она уже имела славное начало у представителей идеализма. Хотя она и далека была от завершения, но намечался план здания, ставились проблемы; формально она уже стояла высоко. Эпоха позитивизма вместе с философией уничтожила и эту работу, начав строить все сызнова. На первый план выдвинулась догматическая вера в «социологические законы», которые можно уловлять во всевозможных направлениях. Потому «социологий» в скором времени явилось несколько, все устанавливали законы общественного развития и, кажется, так я сужу и по своему опыту и по опыту других, увлечением этими схемами надо переболеть как корью, вообще болезнью возраста. Не входя в критику этих учений по содержанию, мы пока отметим здесь их отличительную формальную особенность, состоящую в слабости критцизма как при постановке проблем, так и формулировке учений. Заслуга же их заключается в накоплении большого количества фактического описательного материала, касающегося разных областей общественной жизни. В настоящее время пора антифилософской реакции, по видимому, проходит. Все увеличивается число голосов, призывающих к критической проверке тезисов позитивизма и того, что можно назвать его наукословием, учением о науке. То течение философской мысли, которое носит название неокантианства, выставляет непосредственной задачей вернуть утерянные приобретения хотя бы теории познания и приглашает в этом смысле вернуться к Канту. Хотя это в моих глазах и не является еще тем философским возрождением, которого чаем, но оказало и оказывает уже благодетельное влияние.

Целый ряд писателей и философов, Виндельбанд, Риккерт, Наторп, Штаммлер, Зиммель в Германии, Струве, Кистяковский и др. в России вновь поставили для пересмотра вопрос о природе социального знания, — того, что и как можем мы познавать в общественной науке. Во многих же случаях, особенно относительно некоторых укоренившихся догматов, поставить вопрос значит уже на него ответить, как в андерсеновской сказке достаточно было одному мальчику крикнуть, что король голый, чтобы увидали все.

Поэтому есть надежда, что общественная наука находится уже в начале пути своего, несомненно, медленного и трудного возрождения, ибо далеко ей еще остается до того, чтобы поднять нить социально-философской мысли там, где она выпала из рук Гегеля, и повести ее дальше, на основе всех завоеваний новой науки. Еще, однако, неблагоприятнее обстояло дело относительно политической экономии, которая не знает такого героического прошлого и при своем рождении дышала спертым воздухом банкирской конторы, фабрики, магазина, с царящим здесь духом практицизма и злободневности. На первый план здесь выступили задачи практические, почему успешнее всего и развивалась именно эта ее сторона.

Дифференциация прикладных отделов политической экономии и разработка их происходит на наших глазах; экономическая техника жизни, усложняясь, усложняет и изучающую ее науку. И если видеть в политической экономии только эту прикладную сторону, рассматривать ее как социальную технику, то на развитие ее можно смотреть с чувством полного удовлетворения. Напротив, в философской и, так сказать, университетской перспективе ее состояние не внушает тех же чувств. Вначале политическая экономия находилась в руках практических деятелей, каковы меркантилисты, в известном смысле даже и Смит, Рикардо, Лист, некоторые физиократы. Философской традиции создаться было мудрено. Позднее, в эпоху уже философского упадка, разработка политической экономии, за совершенно единичными исключениями, перешла в руки людей, чуждых философских стремлений и охваченных или философской реакцией, или же индифферентизмом. Наиболее обобщающие главы так называемой теоретической экономии носят явные следы этой своей философской безродности.

Отсутствие собственного стиля, прочных традиций, какой-то прирожденный дилетантизм характеризуют ее, благодаря чему разрозненная работа растрачивается, рассеиваясь в пространстве, и чего-либо, что можно бы с несомненностью назвать непрерывным прогрессом в этой области, мы не усматриваем. Ввиду этого многие из видных экономистов теперь просто не занимаются теоретическими проблемами, отказываясь от философской разработки политической экономии и все силы устремляя в практическую область. И действительно, благодаря отсутствию критического базиса, предварительной



расчистки почвы, многие десятки разнообразных теорий по разным вопросам политической экономии представляют собой разноголосицу, некоторую какофонию; не сговорившись об основных задачах и понятиях, каждый говорит здесь о своем и все о разном. Найти руководящую нить здесь можно только, не заходя в эти извилистые переулки и тупики, но выйдя совсем наружу и возвратившись к первоначальному исходному пункту. (Я знаю, что характеристика эта остается темной и неясной до более подробного развития и подтверждения ее в дальнейших чтениях, да кроме того и они предполагают значительную подготовку в виде общего знакомства с политической экономией. Но и рискуя остаться пока в этом пункте неясным, я должен все-таки провести сегодня же эти основные штрихи своего будущего рисунка и наметить общие задачи своего курса.) Кант заметил однажды, что является признаком величайшей глупости или разумности уметь спрашивать так, чтобы можно было получить ответ. Применяя этот афоризм к теперешнему состоянию теоретической экономии, приходится сказать, что для нее особенно полезно теперь пропедевтическое исследование самых ее проблем, критическое сомнение Канта, приуроченное к ее предмету. На этот путь становится уже теперь целый ряд исследователей экономических проблем (назову Штольцмана, Зсмбарта, Струве, Франка, Штаммлера). Но, кроме этой слабости в смысле неподготовленности почвы исследования, политическую экономию постигнул еще и другой соблазн, подстерегла другая опасность — узурпации и самопреувеличения. Дело в том, что она получила совершенно особое и исключительное значение для современного человечества в силу того, что в рамках ее ныне ставится самая жгучая и величайшая проблема нашего времени — социальный вопрос. На этот вопрос по-своему отвечают различные учения: социалисты, коммунисты, анархисты, либералы, индивидуалисты. Каждое из этих учений, притязающих установить правильное представление о должном или нормальном устройстве общества, отвечающем истинному призванию и достоинству человека, подразумевает в качестве предпосылки целое философское и даже религиозное учение. Религия, этика, философия истории — все это привходит в качестве основных элементов в учения о социальном вопросе, составляющие предмет собственно социальной философии. Правда, социально-философские предпосылки

еще нуждаются и в экономической оболочке; способы и пределы их реализации, техническую, так сказать, сторону социального вопроса и ведает уже политическая экономия, как дисциплина в значительной мере прикладная. Однако в истории своего развития политическая экономия не удовлетворялась этой полезной, хотя и скромной ролью, но в значительной степени узурпировала права и проблемы социальной философии. Таким образом, она как бы заняла временно опустевший во второй половине XIX века философский трон и молчаливо, а то и вслух провозгласила, что собственно истинная философия — это я. В доктрине экономического материализма, объявляющего экономическое развитие истинным субстратом всего духовного и исторического бытия, эти притязания политической экономии получили как бы философскую санкцию.

Для любящего свое дело специалиста слишком соблазнительно сознать в своей науке философию мира и жизни, поверить, что политическая экономия имеет не только первостепенное практическое, но и гораздо большее и общее значение. От этой чрезмерности своих притязаний и отсутствия самокритики страдает и сама политическая экономия, но еще больше социальная философия, влачащая жалкое существование в тисках политической экономии и уродуемая этим логическим корсетом. Следует произвести это необходимое размежевание и разделение: поставить социальный вопрос как вопрос социально-философский и экономический, выделить и формулировать общефилософские и специально-экономические элементы социального вопроса. Нужно понять его и как вопрос общечеловеческого, следовательно, религиозно-философского сознания. В этих целях полезно приложить меч критического анализа современных учений именно в местах спайки разных металлов, где металл философского мышления слит в одну глыбу с железом политической экономии.

Я вовсе не думаю, конечно, умалять огромного значения политической экономии, что и невозможно. К счастью, науки не имеют самолюбивых живых лиц, а размежевание их действительных задач оказывается только полезным. Во многих отношениях для такой философской ревизии, для очной ставки политической экономии с философией сейчас наступает момент. В философском и общественном сознании происходит кризис и ломка, в нем сталкиваются мировоззрения, различающиеся меж-

ду собой не столько прикладными социально-экономическими идеалами, сколько основами социальной философии. Например, социализм и анархизм сталкиваются между собой не как мировоззрения разных социальных классов или враждебных лагерей, но как разные веры, разные социально-философские схемы. Да и в общей скобке социализма все с большей отчетливостью намечаются при общности непосредственных экономических задач разные духовные пути, различные религиозно-философские коэффициенты: напр., между материалистическим и христианским или идеалистическим социализмом едва ли найдется значительная разница в области экономических программ, но существует полная противоположность в области религиозно-философской. Очевидно, что таких различий не ущупать политической экономии в ее специальных рамках. Между тем социально-философскому сознанию ставятся все новые задачи, ему нужно справляться теперь и с такими учениями, как бунт Ницше или воинствующий нигилизм Штирнера, которые так непереваренными комами и остаются в духовном желудке. Вообще для представителя социальной философии, для философской, а стало быть, и университетской, *sub specie aeterni et universi*, постановки общественных вопросов должно наступить лето благоприятное.

Но и вообще, отвлекаясь от непосредственного предмета нашей беседы, можно сказать, что подобная философская ревизия, углубление сознания становится все необходимее не только ради нужд теоретической науки, но и практических нужд времени, вытекающих из отличительных его особенностей. Нет в нашей жизни сейчас более важной и настоятельной духовной нужды, как посмотреть на нее и на самих себя *сверху*, с некоторой высшей точки зрения, подняться на нее, чтобы понять себя. Наше общество переживает теперь не только политический, но и духовный кризис, пору грозного и мучительного, тягостного и знаменательного раздумья.

За это грозное время произошло так много неожиданного, ошеломляющего, что чувствуется потребность одуматься, как-нибудь понять, внутренне справиться с происшедшим. За несколько лет, даже месяцев все как бы стали другими людьми; что казалось незыблемым, успокаивало, давало ответы еще недавно, теперь оказывается непригодным или недостаточным, казавшееся твердым стало жидким, оказалось огнеплавким. Нужно снова нащупывать устои жизни, искать в себе силу соз-

нательного, идейного отношения к жизни в такую эпоху, когда ею все более правит бушующая стихия, поймать и удержать в руках руль, когда встречные волны вертят нас как в водовороте. Страшное, но и творческое, ответственное время, и горе тем, что встречает его с пустыми раками, не имея за душой никаких богов, никаких святых, кроме того, что сегодняшняя волна выносит на своей поверхности или что нетерпеливо и властно утверждает как последнее слово правды изменчивая улица. Вне такого духовного обновления иссякают источники жизни, в безвоздушной атмосфере поселяются уныние и недоумение, колеблется самая вера в жизнь и в человека, развивается равнодушие к жизни, переходящее в нигилистическое ухарство и какую-то страшную игру со смертью. Нужно снова учиться любить жизнь, любить ее не в гадкой, обнаженной, звериной форме, но в той ее божественной, бессмертной ценности, которая может открыться нашему духу, ныне начинающему погружаться в какую-то апатию. В эпоху величайшего исторического напряжения и исключительной нервности разгоряченному и запыленному путнику земли полезно хоть изредка погрузиться в свежий и холодный ключ вечных идей и ценностей, соприкоснуться с философским пантеоном, в котором витают великие и святые тени подвижников мысли, освежиться от злого огня жизни и ее ожогов, почерпнуть новую веру и вдохновение.

Отходя хоть на моменты от жаркой сечи жизни в тишь раздумья, каждый слышит в душе зовущий и вопрошающий голос о смысле и целях, о связи всего со всем, о высших идеалах. Вопрошаний этих сейчас принято стыдиться и гнать их с поверхности жизни, но, загнанные в подполье, они не утрачивают остроты, ибо молчаливые голоса суть самые громкие, и всего громче звучит тишина и молчание судящей и испытующей совести. В этой тиши тоже совершается зиждательная работа истории, происходит тот органический рост и питание корней, которое скажется и в цветении жизни. Ибо лишь из великих мыслей и чувств рождаются великие деяния, и, наоборот, жизнь мельчает и тускнеет, как только оскудевают ее корни. И если наша эпоха призвана быть действительно эпохой великих деяний, то для этого она должна быть и эпохой углубленного и устремленного во внутрь сознания, ибо не родится смокв с терновника, и от поверхностной жизни не родится истинное величие. Призыв к углублению есть поэтому зов не от жизни, но

к жизни, к ее искреннему творчеству. Обращаясь во внутрь себя, мы неизменно чувствуем боль от раздробленности, хаотичности мира, тоску мировой, космической любви, жажду предчувственного Платоном зиждительного эроса, связи и слияния всего со всем в мысли, в чувстве, в действии. Тогда внятнм делается и духовный зов университета, к которому мы сегодня прислушивались. В сознании победно становится недостижимый, но и неустранимый из него идеал, вне которого теряли бы всякий смысл и жизнь, и знание, и история. Этот идеал, лежащий на дне философии и религии, есть конечная и универсальная гармония, положительное всеединство, добытое с боя у мстительного хаоса, или, как определял этот основной мотив своих философских построений Владимир Соловьев, цельное знание, цельная жизнь, цельное творчество! Ища правды жизни, мы ищем пути к жизни правды и делам правды, и потому не должны щадить себя и не должны отчаиваться в поисках, твердо веруя в истину слов: *ищите и обрящете!*